

СОДЕРЖАНИЕ

Тревожный город	5
Богиня утренней зари	16
Под знаком волка	60
Из дневника Анны	107
Пристань	129
Одни	146
Свои	171
Чужие	199
Ничьи	220
Описи ценностей	250
Мир, в котором некуда бежать	274
В бреду яви	306
Вступление в поэты	323
Всё сначала	344
Западня	364
«Бросивший вечность на кон той страсти...»	409
«...мой неброшенный!»	429
Эпилог	436

ТРЕВОЖНЫЙ ГОРОД

Анна. Петроград. Сентябрь 1917 года

— Чем жертвовать будем?

Странная хозяйка, спросив день, месяц, год и даже час ее рождения, проводит несколько линий на заранее расчерченных листах тонкой папиросной бумаги. И, едва взглянув на расчерченное, вопрошает:

— Жертвовать чем будем?

Она знает, что должна родить сына.

Всегда знала. С тех пор как не стало ее отца. С таким же именем, с такими же глазами, с таким же голосом. С таким же, как вокруг отца, пространством, в котором, и только в котором, ей всегда удивительно хорошо. Даже не хорошо, а единственно возможно. С пространством, в котором — и только в котором! — она может жить. После смерти отца она жить как прежде — летая — не может. И знает, что должна вернуть это пространство на землю. В собственном сыне вернуть.

* * *

Осень. Обреченная на зиму осень... Не благодать лета, но и не стужа зимы.

Умерший от полученных на японской войне ранений отец учил ее когда-то несложным

иероглифам. Виточек к виточку — рождается смысл. Из простых иероглифов складываются сложные.

«Рис на корню» и «огонь» складывается в иероглиф «осень».

«Осень» и «сердце» складываются в иероглиф «тоска».

Осень на сердце — тоска.

Осень. И ветер. Пронзительный, не ласкающий, а протегивающий насквозь ветер заполняет всё пространство, оставшееся между небом и землей.

И хруст листвы под ногами. Тревожащий, дрожью отдающийся внутри живота хруст.

Откуда эта тревога, что разливается внутри?

От новой жизни, что живет в ней?

От иной внешне новой жизни, которая вытесняет, выдавливает, выталкивает ее из прежнего, может, и не отчаянно счастливого, как мечталось в юности, но вполне привычного и дорого ей бытия?

Гулко...

Гулко...

Отчего так гулко? Словно она сама внутри большого колокола. В колокол тот ударили, и всё пространство гудит внутри. А она в сердцевине.

Гул пронизывает насквозь, и множится, множится, в голове ее множится. И уже она сама становится тем языком, что, раскачиваясь в брюхе колокола, разбиваясь своими боками о его бока, выбивает новый гул.

Гул... Только разбитые от ударов бока болят, да голова кружится в предощущении следующего удара. Так в детстве в ближнем имении, когда с деревенскими ребятами летала на веревке, при-

полет занесет. Вышвырнет в речку? Ударит о нависший над речкой утес?

Гул... Она становится движением, а тяжелые литые края колокола всё близятся, близятся... Еще миг, и болью своего удара она вызовет новый гул, а сама отлетит обратно, чтобы с ударом о другую крайность этого ограниченного бытия вернуться и начать всё сначала.

И лица... Лица... Совсем иные лица. Не те, которые она привыкла видеть в городе прежде. Или просто она не в свою часть города забрела?

Город. Совсем чужой город.

Несколько кварталов по набережной Мойки в сторону от ее привычных дорог, а уже будто чужой город. Или теперь весь город чужой? И весь мир чужой?

Здесь где-то невдалеке, говорят, живет Блок. Как он может тут жить? Здесь же можно сойти с ума. Если всё это видеть каждый день, непременно можно сойти с ума.

Как он может здесь жить? И как она может сюда идти?

Одна. Беременная. Почти в темноте — фонарей теперь не зажигают...

Сумерки стущаются всё быстрее. Под ногами ничего почти не видно. Убрала в опавшую листву собачьи нечистоты, поморщилась, настолько явно ощущение — будто не сапожком, а босой ногой наступила. Горничной Марфуше придется вечером отмывать эту гадость с ее обуви. Да и самой теперь не избавиться от ощущения нечистоты, что скрыта под хрустящей сверху, багряной и торжественной опавшей листвой...

Отчего горничные перестали за хозяйскими собаками убирать? Горы опавших листьев, а под ними... Отчего это дворники перестали мести улицы? Их дворник Карп стал бегать на митинги, отчего и перед их парадной теперь не чисто. И он не один такой. Убирать некому. Все митингуют. Или громят. Или прячутся, чтоб не разгромили.

Кто сказал, что если революция, то в городе можно не убирать?

Шумно... Шумно... Почему в городе стало так шумно? Всё бурлит, кишит. То бегут, то стреляют. Отчего теперь все стреляют? И отчего теперь все простоволосые с криками бегут по улицам, по которым прежде чинно прогуливались пешком?

В пору первой революции ей было четырнадцать. Кинулась к окну, но на их Большой Морской никакой революции видно не было. Хотела на улицу бежать, «революцию смотреть», но вышедшая из кабинета мать осадила:

— Революция — не повод выходить из дома без шляпки!

Пришлось возвращаться за шляпкой, а пока шляпку подобрала, революция далеко от их дома укатилась, только дальние раскаты слышались еще где-то за Николаевским собором.

Многие запреты матери она нарушала и нарушает, а тот, насчет шляпки — никогда!

Теперь на ней шляпка от Дюве, хотя в той части города, и в это время суток, и в этой странной новой жизни более к месту была бы дешевая полусшалка, как у Марфуши. Или красная косынка, как у революционерок. Или у них нынче

принято и вовсе ходить с непокрытой головой, как та рыжая наглая бестия, хохот которой разносится теперь на всю притихшую улицу?

Рыжая, в принятой в их среде грубой куртке из кожи быка, едет на авто, что с рыком вывернуло из-за угла — она еле успела отскочить, чтобы не попасть под колеса этой революции. Иные революционерки выглядят как нечто бесполое — папироса без мундштука, стрижка, кожанка, оружие. Но Рыжая вполне женщина. Длинные, отливающие не медью, а ржавчиной волосы, как знамя, полощутся на ветру. Из распахнутой кожанки выпирают округлости — бог мой, она не только шляпки, но и корсета не носит!

Патлатый революционер, что с Рыжей в авто, ухватился за одну из округлостей фурии и не отпускает. У всех на виду держится за женскую грудь, как за ручку в конке, а другой притянул Рыжую к себе. И целует ее бесстыдно и страстно. Так и в темноте супружеской спальни не целуют, а уж на улице!

Патлатый в такой же, как Рыжая, тужурке из дурно пахнущей кожи. Его невымытые длинные волосы падают на лоб, мешают целоваться. Патлатый то пятерней, то резким взмахом головы откидывает мешающие ему пряди с лица.

Движения словно метрономом вошли у него в размеренную привычку. На раз-и-два-и — отбрасывает падающие на лоб пряди рукой, на три-и-четыре-и приникает своими обветренными губами к губам Рыжей. На раз-и-два-и — взмах головой, даже если прядь упасть еще не успела, всё равно взмах, на три-и-четыре-и — снова к губам.

И так до бесконечности.

Рыжая вызывающе хохочет.

— Подстрелить его! Подстрелить!

Куда они едут? Арестовывать? Расстреливать? На митинге голосить? Матросов на погром поднимать? Или просто длинноволосый везет Рыжую в постель? Для нынешних, говорят, все это развлечения одного рода. Арестуют кого-то, наганами станут водить у несчастного человека перед носом, или между ног, возбуждаясь уже не от собственной похоти, а от чужого страха. Поводят-поводят, потом полуживого отпустят, или не отпустят, таким всё едино, и поедут совокупляться. На благо революции. Или прямо в застенке, где расстреливали, совокупляться начнут.

И всё это и есть революция?!

Рыжая. Патлатая. Бесстыжая. С обветренными губами и наганом между ног.

Революция, от которой нужно бежать? Из родного города бежать. Мать и муж приняли решение всем ехать в Крым, чтобы в материнном крымском имении переждать смуту. Долее оставаться в волнуемом городе нельзя, а с маленькими девочками и с ней, беременной, и вовсе опасно. А она так хотела, чтобы сын ее родился здесь, в городе ее отца.

Они едут завтра. Вещи уже сложены. Девочки мучительно выбирают, какие из игрушек можно взять. Муж столь же мучительно отбирает книги и предметы для своего научного труда. Саввинька, пятнадцатилетний племянник мужа, рано оставшийся без родителей и живущий в их семье

10 юноша не от мира сего, всё чертит что-то

пером и карандашом в своих альбомах, бормочет, как водится, наизусть, целые страницы, и третий сундук уже своими альбомами и книгами забил...

Они едут завтра. А сегодня, дочитав девочкам сказку, она выскользнула из дома и одна в сумерках идет в эту глухую часть Коломны. К прорицательнице. Про ребенка узнать.

Всю свою третью беременность вышагивает по городу, вгоняя всё ожидание в заданный чужими стихами ритм.

Ей двадцать шесть.

Она — Анна.

* * *

— Ждите!

Открыв лишь с третьего звонка дверь, на которой побрякивает китайский колокольчик, и даже не предложив снять шляпку, прорицательница отводит Анну в странного вида комнату.

— Позову. Занята.

И уходит вглубь квартиры.

Всё не так, как представлялось.

Никакой небесной мантии на той, которая допущена в тайны судеб.

Ни тебе мантии, как у звездочетов древности, ни лиловых одежд нынешних любительниц спиритических новшеств, коими какой уж сезон полон тревожный Петербург. Разве что вся в черном.

Прежде Анна в сознательном возрасте не поддавалась ни на одно из мистических увлечений — хватило отроческой глупости, от ко-

торой еле оправилась. Столоверчение, явление духов, любовная и политическая магия, привороты на соли и заклятия на крови, вся та фантазмагория, что творилась вокруг трона, пока не убили Распутина, и, говорят, творится теперь.

И слухи... Слухи. Что в Петрограде колдуют теперь все! И как колдуют!

И эта прорицательница — одна из самых! Которую по страшному секрету друг другу передают. И с придыханием о ее таинствах друг другу рассказывают.

Но никаких звездных карт на стенах.

Пропахшая кошками нечистая квартира на окраине Коломны. Две почти беспёрые блеклые канарейки, сообщившие о своем присутствии не пением, а шелестом крыльев, который, к ужасу Анны, вдруг раздается в полной тишине.

Мисочки с остатками засохшей рыбы и мутноватой воды в углу комнаты. При запахе рыбы тошнота подкатывает к горлу, ребенок внутри недовольно ворочается. По овалу миски на воде видны пылинки и ворсинки, насыпавшиеся в поилку несчастных тварей с плащом, шерстяных юбок и брюк посетителей этого странного места, сменявших один другого.

Или с кожаных тужурок?

Окно, на котором теперь сидит белесая канарейка, выходит на освещенную лишь тусклыми окнами ближних домов улицу. Анна подходила к дому по набережной с другой стороны и не видела то, что замечает теперь из окна. На

12 улице возле парадной стоит то самое авто,

что чуть не сбило ее несколько минут назад. Рыжей бестии не видно, патлатый революционер нервно курит папиросу, ждет.

В дальней комнате, куда ушла прорицательница, кроме ее голоса слышен еще один, женский, будто надтреснутый. Уж не за пророчеством звезд ли революционерка пожаловать изволила?

Ждать приходится долго. Слов не разобрать. Наконец голоса в дальней комнате стихают. С легким звоном китайского колокольчика хлопает входная дверь. Еще минута, и из окна видно, как Рыжая выбегает из парадного. Что-то говорит патлатому спутнику. Он, привычно откинув со лба прядь волос, рывком усаживает Рыжую на сиденье и толкает в спину сидящего за рулем авто возницу в военной форме без погон — двигай!

Не порадовала астрология революцию.

Порадует ли ее?

— Чем жертвовать будем?

— Что?

Странная хозяйка, спросив день, месяц, год и даже час ее рождения, проводит несколько линий на заранее расчерченных листах тонкой папиросной бумаги.

И, едва взглянув на расчерченное, вопрошает:

— Жертвовать чем будем?

Черная кофта под самое горло. Черная юбка прямого, без излишеств покроя, но с излишне смелым разрезом. Когда хозяйка запрыгивает на высокий, придвинутый к книжным шкапам